

ни знанія, ни науки и искусства, ни самоанализъ съ его тяжкими муками и разѣдающими сомнѣніями, — очутиться сразу, съ вызваннымъ изъ собственной же груди и успѣвшимъ уже раздвоить насъ духомъ, отъ котораго, подѣ часъ, и сами мы рады бы и готовы, подобно Фаусту, отказаться, чувствуя, какъ онъ намъ не по груди, не по головѣ! Но — вотъ несчастье! Духъ этотъ не можетъ исчезнуть, будучи разъ вызванъ... Мефистофель, — этотъ, по опредѣленію Тургенева, бѣсъ cadaго человѣка, въ которомъ родилась рефлексія, вызванъ не изъ какой нибудь преисподней, а изъ той же, собственной груди человѣка! Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu! И некуда ему, поэтому, исчезнуть, нельзя отъ него отказаться или прогнать заклинаніями, — вездѣ онъ съ своими вопросами, вездѣ, гдѣ самъ носитель его — человѣкъ, куда бы онъ не отвернулся отъ него! А главное: зависть къ той «гармонии», «цѣльности» и непосредственности, которыя мы такъ склонны идеализировать въ простыхъ, заурядныхъ людяхъ массы, и утрату которыхъ въ насъ самихъ гр. Толстой ставитъ въ вину «развитію», — не есть-ли, напротивъ того, зависть къ тому именно, что мы *должны еще* завоевать себѣ, а не проклятіе тому, что уже успѣли сдѣлать? Зависть эта дѣйствительно-ли отъ того, что мы *слишкомъ далеко* «забрались», а не отъ того ли, что, забравшись, что называется, *стали*?

Центръ тяжести всего вопроса, какъ онъ долженъ былъ бы представляться самому гр. Толстому, прежде чѣмъ онъ успѣлъ формулировать его въ рядѣ указанныхъ нами крайнихъ положеній его IV тома, — можетъ заключаться въ слѣдующемъ: развитие, нормально совершаемое, должно ли, въ конечномъ своемъ результатѣ, влечь непременно нарушеніе цѣльности личности и ея духовныхъ отпавленій, утрату гармоніи духовныхъ способностей и силъ, — или, напротивъ,